

Когда с Иваном Николаевичем случился инсульт, очень многие – деловые партнёры, подчинённые и даже родственники – подумали: «Как некстати!» Слишком много оставалось незавершённых дел, которые без Ивана Николаевича решить, конечно, было бы возможно, но время, время! На очень многих документах требовались его подписи (в отдельных случаях сошли бы и подписи заместителей, но брать на себя лишнюю ответственность...). В некоторых делах круг посвящённых расширять было очень нежелательно, некоторые связи с полезными людьми Иван Николаевич налаживал лично, и заместители многих и не знали, а на банковских счетах вообще требовалась только его подпись, да ещё чтобы все закорючки совпадали с образцом, а переоформлять всю ответственность на другое лицо – опять же время. Поэтому, когда из больницы сообщили, что жизнь Ивана Николаевича вне опасности и вообще всё не так безнадежно и обошлось довольно ещё легко, очень многие, сказав «слава богу», вздохнули с осторожной надеждой (некоторые так даже перекрестились) и, выждав неделю-полторы, как только врачи дали отмашку – мол, можно, – кинулись в больницу, навещать Ивана Николаевича.

Ситуация и в самом деле не выглядела опасной. Иван Николаевич не утратил никаких основных навыков: не обездвигел, прекрасно управлялся с ложкой, мог сам себя обслужить, и даже речь его была ясной и вполне членораздельной. Он не забыл никаких слов, как это часто случается после инсульта, и, когда в разговоре доходил до существенных, до обозначения предметов – не спотыкался, как другие, не морщился устало, пытаясь жестами показать, что ему нужно, а говорил прямо и ясно: «Принесите карандаш и блокнот. Принесите книгу, бритвенный станок, сигареты». Нет, Иван Николаевич, извини, о куреве придётся забыть, а остальное – пожалуйста.

Единственное серьёзное и ощутимое последствие инсульта состояло в том, что Иван Николаевич не всех узнавал, из памяти его выпало, кажется, целое двадцатилетие, а то и более значительный срок. Похоже было на то, что ощущал он себя году в восьмидесятом или восемьдесят втором, но никак не позднее. Поэтому лица тех, кто появился в его жизни позже, были ему незнакомы, а лица тех, кого он знал раньше, казались неестественно и как-то очень быстро, почти сиюминутно состарившимися, и он недоумевал, что же такое страшное с ними произошло, а спрашивать об этом было бестактно, да он и боялся спрашивать и, натягивая одеяло чуть ли не до самых глаз, с ужасом смотрел на столь дорогие, милые, столь хорошо знакомые и столь быстро и безобразно постаревшие лица.

Но однажды, увидев себя в зеркале, Иван Николаевич понял, что и он вместе со всеми как-то очень быстро, неестественно быстро постарел, а значит, что-то страшное случилось не только с другими, но и с ним, с Иваном Николаевичем, тоже. Это открытие настолько поразило его, что всё остальное уже не удивляло и несколько не беспокоило. Равнодушно смотрел он на свою просторную, светлую, в два огромных окна палату, сверкавшую безупречной чистотой и белизною и в которой находился он совершенно один. (Что за привилегии, скажите на милость?) Не удивляли его и свежие фрукты, постоянно находившиеся у него на столике, хотя достать их в Москве – это он помнил точно – было совершенно невозможно. Названия некоторых он даже и не знал, а другие хотя и знал, но впервые видел их вот так – у себя на столе. И ел на всякий случай только яблоки. Две сестрички, которые, сменяя друг друга, постоянно дежурили у его палаты, были с ним очень ласковы, всегда улыбались, казалось, были готовы выполнить любой его каприз и вообще возились с ним, как с маленьким ребёнком, – не почистить ли яблочко? не разрезать ли дыньку? пора сделать укольчик, пора принять лекарство. И Иван Николаевич, оглушённый своим открытием, несколько не капризничал, соглашался на всё безропотно: укольчик так укольчик, лекарство так лекарство, дыньку – что ж, можно и дыньку. Сестрички тоже его не удивляли, хотя никогда и ни от кого не слышал он, чтобы в московских больницах были такие ласковые и приветливые к простым смертным медсёстры. Сестрички же не могли на него нахвалиться – какой послушный и спокойный пациент оказался, в конце концов полюбили его как родного, очень жалели и называли между собой дедушкой. Очень они боялись, что Иван Николаевич окажется спесивым и грубым или мелочно-придирчивым. Приготовились они уже сносить и двусмысленные взгляды, и сальные шуточки, и пошловатые шлепки пониже талии – но ничего этого не было даже близко. А был совершенно потерявшийся, словно выброшенный на необитаемый остров, человек, были испуганные глаза, которые ни на чём долго не задерживались, чтобы не испугаться ещё больше, а смотрели как будто всегда во внутрь, словно человек всё время о чём-то думал и никак не мог решить какую-то задачу, и, может быть, это было даже и хуже, чем если бы смотрел он по сторонам, потому что казалось, что глаза эти вот-вот расширятся до предела, взгляд застынет на белой стене и человек одними губами прошепчет только: «О, ужас!...»

Почти по-стариковски шаркая, Иван Николаевич вернулся из ванной комнаты, где было зеркало. Сел. Заснуть цветущим юношей – проснуться стариком. Что же такое с нами случилось? Что же такое случилось со мной? Ну не совсем, конечно, юношей и не таким уж стариком, но всё же...

Вспомнилось то место из «Мёртвых душ», где говорится о том ужасе, который должен испытать молодой человек, если показали бы ему его портрет в старости. «Вот я и оказался таким юношей, – подумалось Ивану Николаевичу совсем просто, так, что он даже и не усмехнулся сам себе. – Только вместо портрета у меня – зеркало».

Лечащий врач (и не просто врач, а настоящий профессор), который вообще был очень добросердечным и внимательным человеком, не мог, конечно, не заметить такой перемены и, оценив состояние пациента как вполне вменяемое, очень мягко и очень осторожно, со множеством оговорок, опуская различные медицинские термины, объяснил Ивану Николаевичу его положение. Они были ровесниками, оба детьми застали войну, оба помнили послевоенные годы, словом, лечащий врач знал, что Иван Николаевич должен интуитивно испытывать к нему доверие. И он не ошибся. Всё сказанное им Иван Николаевич воспринял совершенно спокойно, словно показали ему выход из лабиринта или подсказали решение головоломки, и в глазах его даже наступило как будто просветление, взор на какое-то время прояснился и успокоился – «Ах вот оно что!..» – но потом пелена безразличия заволокла их: решение головоломки оказалось банальным и совсем неинтересным, а выход, кажется, выводил в пустоту. И всё-таки такое объяснение, по сути своей довольно неутешительное и страшное, было вполне жизнеподобным, оно восстанавливало нарушенный порядок вещей, оно само по себе было в порядке вещей и, следовательно, хоть как-то примиряло с *окружившей* действительностью, устраняя эту дурную загадочность и всякие фантастические домыслы о случившемся.

Напоследок лечащий врач, чтобы ободрить больного, сказал – впрочем, всё это было чистой правдой, – что если дело и дальше пойдёт так же хорошо, то он обещает ему полное выздоровление, память восстановится, и Иван Николаевич сможет вернуться к привычной жизни.

Ну и, во-вторых – это сообщение, словно десерт, он приберегал до последнего, – вам, Иван Николаевич, будет, наверное, небезынтересно узнать, что эти двадцать с лишним лет не прошли для вас даром. Вы стали, прямо скажем, довольно состоятельным человеком. Да и вообще в нашей стране за это время многое изменилось: узаконена частная собственность, разрешено предпринимательство и – самое главное – здесь доктор по-свойски весело подмигнул Ивану Николаевичу, – *Софья Власьевна* уже лет пятнадцать как приказала долго жить.

Иван Николаевич в ужасе уставился на доктора: нет, был он, конечно, наслышан о профессиональном цинизме врачей, но чтобы вот так, в открытую, с подмигиванием и улыбочкой (словно вместе это дельце обстряпали) говорить о смерти человека, пусть даже и не очень приятного при жизни – это уж слишком. И, кстати, кто она была, эта Софья Власьевна? Чем так успела ему, Ивану Николаевичу, насолить, что теперь доктор, не стесняясь, подбадривает его фактом её смерти? Сварливая тёща, заедавшая его век? Какая-нибудь вредная старуха, соседка по коммуналке, чьей комнаты никак не могли дождаться? Да неважно кто! Нельзя так о человеке, да и тещу он, кажется, помнил, по-другому её звали.

Доктор смутился. Он увидел, что Иван Николаевич намёка не понял или, может быть, понял, но настолько ошеломлён, что просто не может поверить. «Действительно, я и сам не поверил бы», – подумал доктор и пожалел о своей разговорчивости – было очевидно, что о таких фантастических переменах Ивану Николаевичу сообщать ещё рано.

«Ну ладно, ладно, – заторопился он. – Не берите в голову. Вы, Иван Николаевич, вот что, вы помните главное: вам есть куда возвращаться, у вас большая квартира в Москве, своё очень прибыльное и хорошо поставленное дело. Вас там ждут. Запомните это и не отчаивайтесь. Ещё вот что: я думаю, уже имеет смысл разрешить более частые посещения – быстрее будете вспоминать. И поменьше думайте о всякой ерунде – скоро всё само собой вернётся и разрешится. А пока можете отдохнуть. Это, в некотором смысле, даже позавидовать можно: забыть всё на время, отрешиться от всего, отдохнуть, помнить только хорошее, словно ничего другого и не было, словно вся жизнь без помарок... Ну всё, всё, отдыхайте...»

С этих пор визиты стали почти ежедневными. Чаше других приходила некая женщина. Ему сказали: это ваша жена. Поверить этому было трудно – жену-то Иван Николаевич помнил отлично. Но ему пояснили: вторая. И он смирился. Покорно принимал её ухаживания, послушно ел йогурты, позволял себя кормить чуть ли не с ложечки. Она всё о чём-то щебетала, щебетала, а он смотрел на неё пустыми глазами, никак не мог назвать её по имени и не понимал, откуда она взялась и куда подевалась та, первая, которую он помнил. Почему до сих пор не приходила? Жива ли? Он помнил, что любил её. Он помнил, как много они пережили. Как радовались своему первенцу и как потом переживали за него, сколько бессонных ночей провели они у его кровати, когда начал он, как по каталогу, болеть всеми детскими болезнями. Он как сейчас помнил самого себя в ту зиму, когда он каждое утро, в пять часов бежал в детскую кухню. Он помнил, как выходил из подъезда в колючую мглу и как сразу же, словно ненужные после выздоровления бинты, слетали последние остатки сна. Он ещё ворчал по инерции, что в ближайшие полтора-два года так и не удастся ему выспаться, но скоро он забывал и об этом и чувствовал, что жизнь ещё только начинается, каждое утро наполняясь всё новым и новым смыслом, так же, как на детской кухне каждое утро наполнялись молоком и смесью бутылочки для его сына. Он помнил, как приносил это молоко, этот творожок, отдавал жене, и из прихожей – подходить к ребёнку с мороза запрещалось – через стеклянную дверь, пытался, вытянувшись на цыпочки, заглянуть в детскую кровать, чтобы увидеть своего мальчика, своего кроху и, помахав ему, спящему, бежал на работу. Он помнил, что, поддавшись уговорам бабушек, ребёнка крестили и что дали священнику десять рублей, чтобы не записывал в книгу, потому что оба были комсомольцами. А потом даже отстояли всю службу, и было это совсем не скучно. А потом с ними беседовал батюшка, и как они сначала стеснялись его, будто вместе пришли к одному врачу, прятали глаза и неуклюже улыбались на его вопросы и не знали, как правильно его называть, а сказать «батюшка» – язык не слушался, словно обложили его ватой, а когда всё же назвали его так, то покраснели, как дети. Но голос его звучал тихо и спокойно, а глаза смотрели так вдумчиво и ласково, что казалось, будто вся вселенная, вся правда и вся любовь сосредоточились только здесь, в этих стенах, где тихое пение, свечи под образами и Господни лики. И они записались к нему на исповедь, с тем чтобы потом причаститься, а уже потом венчаться. И казалось, каждому открылось в другом что-то новое. Они смотрели друг на друга и думали: у нас будет тайное венчание, совсем как в пушкинской «Метели». «У нас будет тайное венчание», – шептал он ей на трамвайной остановке, и такая нежность переполняла обоих, что казалось сейчас, посреди января, как в сказке,

наступит апрель. И подъезжавший трамвай тоже как будто был с ними заодно, потому что гремел и дребезжал вагонными сцепками громче обычного, чтобы никто из посторонних про тайное венчание не услышал. Два дня чувство первой влюблённости снова было с ними повсюду. Но потом, по зрелом размышлении, они не пошли ни на исповедь, ни на причастие, ни тем более на венчание. А от Коленьки после крещения хвори и в самом деле как будто отступили. Стал он болеть реже и не так тяжело.

Всё это Иван Николаевич помнил очень хорошо, и ещё он помнил, что было в той жизни нечто, что, наверное, теперь уже можно было назвать счастьем, несмотря на все эти мытарства по общежитиям и коммуналкам, несмотря на хроническое безденежье, на бессонные ночи с маленьким ребёнком, на постоянные шашки по выходным. И теперь он не понимал, откуда взялась эта женщина, эта красotka, этот оживший манекен? Почему она вместо Лиды? То, что Лида, его Лида, могла ему изменить – об этом Иван Николаевич даже и не думал. Значит, причина была в нём. Конечно, Лида за эти годы тоже, наверное, переменялась, хотя Иван Николаевич и не мог себе этого представить, но пусть даже и так, но ведь наверняка же не утратила она своего обаяния, своих живых черт, не перестала же она быть прежней Лидой, родным ему человеком, да и сам он – не мог же он настолько всё позабыть – да хотя бы вот это несостоявшееся тайное венчание, – позабыть настолько, чтобы прельститься этим ожившим манекеном, чтобы променять Лиду, свою Лиду, на эту куклу! В доказательство кукла рассыпала перед ним ворох цветных фотографий. Все они были одинаковые, словно напечатали их с одного негатива, и Иван Николаевич сначала даже и не понял, зачем же было приносить так много, неужели не хватило бы одной? На каждой были море, пляж, пальмы, под пальмами – шезлонги, а в шезлонгах – они. И на каждой фотографии Иван Николаевич видел мужчину (в обнимку вот с этой, с куклой) очень на него, на Ивана Николаевича, похожего, и в котором он всё-таки не узнавал, вернее, отказывался узнавать самого себя. Он никогда не замечал за собой этого сытого надменного взгляда и таких жирных, засаленных глаз. Но с каждой новой фотографией он всё больше и больше, к своему нарастающему ужасу, самого себя узнавал. Красotka не замечала, конечно, его смятения и, перебирая снимки, продолжала терпеливо, как с маленьким сюсюка-ясь, объяснять ему: «Это мы в Хургаде, – щебетала она, – это в Анталье, это на Кипре, а это в Испании, в Греции, а эта – особенная: это наше свадебное путешествие в Египет – смотри: пирамиды. Помнишь пирамиды? А Сфинкса? Сфинкса помнишь?»

И опять смотрели на Ивана Николаевича эти засаленные, заевшиеся глаза вполне самодостаточного жлоба, уверенного, что на всё-то он имеет право, и на него, на Ивана Николаевича, тоже. И никуда от этих глаз нельзя было спрятаться. Не было никакой надежды: каждая чёрточка совпадала с ним теперешним. Видел он себя, как в зеркале. Впрочем, маленькая надежда ещё оставалась. Когда в палату, уже почти на правах друга семьи, вошёл лечащий врач, чтобы поучаствовать в умильной сцене узнавания, на которую он уже рассчитывал, Иван Николаевич кинулся к нему и, отведя в сторону, зашептал ему в самое ухо задыхающимся, загнанным шёпотом, словно прося пощады: «Скажите, скажите же мне правду... я ведь догадался: я в психушке, да? Я в психушке, а это всё, – он небрежно кивнул на остолбеневшую жену, – это всё ваши штучки, да? Про... провокация, да? И самое главное – что с Лидой?»



Почему она не приходит? Или вы её тоже?..» Врач разочарованно посмотрел на Ивана Николаевича, потом сочувственно на его жену, поцокал языком, покачал головой и сказал: «Ну что вы, друг мой, те времена давно прошли». В это время красotka, находившаяся до того в полнейшем оцепенении, словно превратили её обратно в манекен, противно захныкала, заревела, закрыла лицо руками и, цокая каблучками, выбежала из палаты. А пирамиды и сфинксы, пляжи и пальмы, моря и океаны, турции, испании, греции и египты так и остались рассыпанными на полу и на кровати, и сестрички, собирая их, подолгу рассматривали каждый снимок, о чём-то восхищённо щебетали между собой и, кажется, ужасно завидовали.

А потом пришла Лида. Иван Николаевич и ждал, и боялся её прихода. Он знал, что виноват, что он совершил что-то непоправимое, что он разрушил их жизнь, что он предал её. Он не помнил, как именно это произошло, но он знал, что так оно и было. И теперь ему было ужасно стыдно. Стыдно и больно, и хотелось расплакаться, растаять, раствориться в воздухе, не быть совсем или, когда она придёт – спрятаться от неё в ванной и не выходить, сидеть там молчком, у двери, на корточках и свет погасить, и рот себе зажать ладонью. Ему сообщили время её прихода, и уже за час у него горели щёки, он ходил по палате из угла в угол, хватался за воздух и не знал, что делать. Ему сделали укол, и он успокоился. Он просто сидел и ждал: поправить уже ничего нельзя. И в глазах его была бездна.

А потом она пришла, и все было очень просто. По её виду Иван Николаевич понял, что она уже давно всё простила и всё забыла: раны кое-как зажили, и она не хотела их лишней раз тревожить и опять всё вспоминать. Побыла недолго. Сказала, что всё у них хорошо, всё «слава богу», у Коли тоже всё нормально: семья, работа. «Ну, всё, Ваня, поправляйся...» И ушла. И Иван Николаевич подумал, что на большее-то он, кажется, не имеет права: он всё вспомнил, но уж слишком поздно. И остались ему пляжи и пальмы, испании и египты, пирамиды и сфинксы.

А потом, как и было обещано, туман рассеялся, выглянуло солнце и всё вокруг стало ясным, выпуклым и осязаемым. Все двадцать лет – день за днём – смотрели на него и ухмылялись, словно до этого находился он в самой гуще карнавала и единственный из всех был без маски, а все кружились, прыгали вокруг него, дразнили его, дёргали за волосы, за уши, за нос, и вдруг по какому-то тайному знаку музыка стихла, и все свои маски сбросили и обступили его. И в каждом он узнавал самого себя. И все эти иваны николаевичи смотрели на него, кто с любопытством, кто равнодушно, кто с презрением. Все они были разных возрастов. Каждый был из своего времени, из своего года, каждый олицетворял какой-то важный этап в его карьере. Поэтому те, кто помоложе, были и одеты попроще и смотрели хоть и нагло, но с любопытством, а те, кто постарше, – и одеты были побогаче и смотрели пренебрежительней. Кто-то из них молча протянул ему маску, а когда он хотел взять, отдёргнул руку, громко засмеялся и показал язык. И вдруг все они загалдели, засмеялись, стали громко переговариваться между собой, показывать на него пальцами, совать ему какие-то предметы и трясти ими у него перед носом: кто ключами от новенького автомобиля, кто золотым паркером, кто пачками денег. Всё плотнее и плотнее обступали они его, всё нестерпимее становился их галдёж, и Иван Николаевич, теснимый со всех сторон, вдруг с ужасом подумал, что сей-

час кто-нибудь в этой неразберихе сунет ему в спину нож – откуда-то он помнил, что на средневековых венецианских карнавалах частенько совершались заказные убийства – поди, излови убийц в такой суматохе, да еще если все в масках! В ужасе Иван Николаевич закрыл глаза – и сразу же всё вокруг стихло: галдёж прекратился, ужасные двойники его исчезли. Так в полнейшей тишине и темноте прошло несколько минут. Постепенно сквозь темноту стали проступать очертания его больничной палаты. Налево от кровати – окно, направо – дверь. Из-под двери сочился мягкий, чуть приглушённый свет, слышались чьи-то осторожные шаги, перешёптывания, потом какие-то смешки – дежурная сестра, догадался Иван Николаевич. С кем это она там? А, с телохранителем, – подумал он совсем просто, нисколько не сомневаясь, что там, с медсестрой, может находиться именно телохранитель и что это именно его телохранитель, хотя он никогда и не видел его здесь, и нисколько не удивляясь тому, что его, Ивана Николаевича, охраняют. Попробовали бы не охранять!

Иван Николаевич повернулся к окну и с тоскою уставился в чёрную пустоту: палата его находилась на двенадцатом этаже, и поэтому, лёжа на кровати, в окно можно было увидеть только небо. С тоскою стал он думать о том, что вот, как и обещал доктор, всё само собой вернулось и всё разрешилось. Он вспомнил эти последние двадцать с лишним лет своей жизни, но, как оказалось, вспоминать-то особенно было и нечего. Нечего было вспоминать, кроме этого постылого бизнеса, вечного всем недоверия, вечного страха. Да, было, конечно, это хищное удовольствие, наслаждение волка, когда удавалось урвать кусок пожирней, оставить других волков, сорвать куш там, где другие свернули себе шею. Но вот теперь он не понимал этого удовольствия. Что было в нём ценного? И разве стоило оно того, чтобы ломать свою жизнь? Почему-то однажды, когда его банковский счёт перевалил за определённую сумму, он, взглянув на Лиду, решил, что она уже не подходит ему по статусу, что теперь он может позволить себе и машину поновее, и дом побогаче, и жену помоложе. Дикость? Дикость, а вот поди ж ты, так оно и было. Конечно, не выгнал на улицу, дал отступного, оставил и дачу, и машину, но логика-то всё равно волчья. Одно слово, в общем, – дикость. А вторая его жена, эта девочка, которую взял он вместо Лиды, в чём она виновата? Разве только в том, дуручка, и виновата, что повелась на всю эту роскошь, что терпела его, старого, за все эти турции, испании и египты. Ну хорошо, она – дуручка, но ты-то умный. Разве не видел, что ей противно? Видел. Разве не мог ей сказать: куда, мол, ты, дура, лезешь! ради чего ты себя в грязь втаптываешь! Мог. Но не сказал, потому что всегда относился к ней как к манекену, красивой вещице, твари бессловесной, куску мяса. Разве не дикость? Конечно, дикость. Вот и стала она взаправду манекеном. Манекену проще – он не чувствует.

Иван Николаевич всё смотрел и смотрел в эту чёрную пустоту за окном и много чего ещё передумал, и на глаза его накатились слезы – он с ужасом понял, что ведь придется туда возвращаться, что ведь он – выздоровел. Мелькнула безумная надежда, что, может быть, сейчас, вот в это самое время, шарахнет его второй инсульт, такой, чтобы уж наверняка. Но он знал, что этого не будет, что за его лечение заплачены большие деньги, и доктор своё дело знает и просто так словами бросаться не будет.

За окном, где-то далеко внизу зашуршал по деревьям дождь. А за дверью всё о чём-то перешёптывались медсестра и телохранитель.

Телохранитель был здоровый и очень жизнерадостный парень – он без умолку рассказывал что-то, по-видимому, очень смешное, потому что медсестра то и дело прыскала, зажимая, наверное, себе рот ладошкой, чтобы не смеяться слишком громко. Иногда его голос ужасно басил, и тогда она угрожающе шикала на него, но удержаться от смеха всё равно не могла. Постепенно они осмелели до того, что включили радиоприёмник. Послышалась тихая музыка, потом звук доставаемой посуды, глухой удар горлышка о край стакана – «Пьют за знакомство», – подумал Иван Николаевич. «Конечно, гнать бы его надо в шею – какой он к чёртям телохранитель после этого. Ну да бог с ними. Они молодые. Тоже, наверное, скучно так – сиди целую ночь, охраняй никчемного старика. А тут девушка: молодая, красивая, хохотушка. Бог с ними». Почему-то ему стало приятно думать об этих молодых людях, о том, какие они молодые, красивые и весёлые, и что вся жизнь у них впереди, и что, может, они понравятся друг другу и будут потом встречаться, и, может быть, уже завтра парень подарит ей цветы или назначит свидание. Эти сентиментальные прожекты о чьей-то прекрасной будущей жизни отвлекали его от мыслей о его собственной, прошедшей и ещё оставшейся. За окном шуршал дождь. Радиоприёмник за дверью транслировал лёгкую музыку. Иван Николаевич закрыл глаза и попытался заснуть. Ничего не получалось.

Ещё через две недели его выписали из больницы.